

# СНЫ И ЯВЬ

Статья Вл. Орлова

## I

Необыкновенны интенсивность духовной жизни Александра Блока и громадность пройденного им пути. Всего двадцать лет отделяют первые стихи из «Ante Lucem» (январь 1898 г.) от «Двенадцати» (январь 1918-го). Но какова же разница!

Невнятная ночная песня робкой, притаившейся души:

И тщетно, страсти затая,  
В холодной мгле передраственной  
Среди толпы блуждаю я  
С одной лишь думою заветной:  
Пусть светит месяц — ночь темна...

И через двадцать лет — другая ночь, озаренная пожаром величайшей революции, и в зареве пожара — неслыханный по новизне и смелости, неотразимый по силе вложенного в него презрения гротескно-сатирический образ рухнувшего старого мира:

Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос.  
И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост.

Метаморфоза, конечно, разительная. Однако теперь, более чем полвека спустя после того как Блока не стало, мы ясно видим единство, целеустремленность и неуклонность его пути. Теперь уже невозможно делить Блока надвое, как подчас делалось это раньше, — на уединившегося в своей келье мечтателя-мистика и на национального поэта, убедившегося в исторической обреченности старого мира и воздавшего хвалу и славу пролетарской революции. Юношеская лирика Блока и его Октябрьская поэма — вещи действительно разные, но и то и другое написал один поэт. Говоря о Блоке, существенно важно понять и обосновать внутреннюю закономерность пройденного им пути, связать воедино начала и концы.

Как стремительно менялась за эти двадцать лет русская жизнь, так менялся вместе с нею и Блок.

Поэту выпала судьба быть свидетелем и в известной мере участником грандиозных, эпохальных событий и решающих исторических перемен. Рост освободительного движения и создание партии большевиков, поражение царской России в войне с Японией и революция 1905 г., полоса политической и общественной реакции, а затем новая волна революционной борьбы, империалистическая война и свержение самодержавия, Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война и начало строительства новой жизни и новой культуры — таковы главные из этих событий и сдвигов. Поистине Блок мог повторить слова одного из любимейших своих поэтов:

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые...

Основным содержанием эпохи, в которую раскрылся гений Блока, стала социалистическая революция в России — ее назревание, подготовка и победа. Поэт великого

исторического рубежа, наделенный таким могучим дарованием, не мог не отразить в своем творчестве существенные черты этого переломного времени, когда история человечества, как сказал Ленин, проделывала «один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное — без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно-освободительное — значение»<sup>1</sup>.

Отблеск русской революции лежит на всем, что написал Александр Блок. Поэт сам отчетливо видел глубинную связь своих творческих устремлений и идейных исканий с историческими судьбами России: «...какое освобождение и какая полнота жизни (насколько доступна она была): вот — я — до 1917 года, путь среди революций; *верный путь*»<sup>2</sup>.

На этом верном, но нелегком, сложном, исполненном резких противоречий пути Блок, решительно перешагнув за рамки русского символизма, в лоне которого он начинал, вырос в крупнейшего русского поэта начала XX в., в поэта национального, решающего идейно-творческие задачи громадного масштаба и значения.

С юных лет испытывая ни на миг не утихавшее ощущение душевной тревоги, наделенный острым чувством истории, «связи времен», поэт чутко прислушивался к «подземному шороху» назревавших событий, уловил «новый порыв мирового ветра», а если перевести эти метафоры на язык более точных понятий, жил предчувствием «неслыханных перемен», которые должны были изменить весь облик его родины.

Голос совести, великая честность художника, который привык «думать больше о правде, чем о счастье», научили Блока смотреть прямо в лицо жизни и понять ее правду. Очень рано, еще в пору нарастания и подъема первой русской революции, Блок сделал для себя решительный и окончательный вывод: правда — на стороне народа, на стороне революции, и если стоит чем жить, так только этим — жить во имя будущего.

Литературно-общественная позиция, занятая Блоком в тяжелые годы реакции, предполагала и борьбу его с самим собой, с тем, что вошло в сознание и в кровь, — с традициями семьи, воспитания, среды, с соблазнами индивидуалистического, антинародного искусства. Для Блока наступило время беспощадной переоценки многих старых ценностей, отказа от «прежних малых дум и вер», поисков прочной опоры в животворных началах национальной культуры, в наследии русской демократической мысли.

Блок подхватил эстафету великой русской литературы, унаследовал ее заветы — гуманизм и гражданственность, мучительную тоску по лучшей жизни, страстную ненависть ко всему, что калечило и унижало человека.

Главным предметом искусства Блока стал несчастный, обездоленный, запуганный человек, обреченный на страдания и гибель в «страшном мире» царской, буржуазной, мещанской, столыпинско-распутинской России. В борьбе за этого человека, за его будущее, за перерождение его в нового, душевно здорового, свободного, волевого, гармоничного человека (перерождение, возможное лишь в условиях революционного переустройства мира) — Блок видел самую высокую и благородную цель искусства.

В борьбе с темными силами старого мира и, конечно, в борьбе с самим собой («старым») Александр Блок выковал свой человеческий и поэтический характер. Строгость, непримиримость, верность долгу, всегдашняя готовность к «вечному бою» во имя торжества правды — вот главные, определяющие черты этого громадного характера.

Александр Блок, призывавший думать и говорить «только о великом», вошел в историю нашей литературы как поэт, стремившийся ответить на самые большие, самые насущные и неотложные запросы русской жизни предреволюционной эпохи. Но это лишь половина того, что должно сказать о Блоке.

Признав высшую историческую правду Октябрьской революции, он связал прошлое с настоящим, озаменовал своей личностью, жизнью и творчеством преемственность русской национальной культуры. Он оказался последним великим поэтом старой России, завершившим поэтические искания всего XIX в., и его же именем как автора «Двенадцати» и «Скифов» открывается первая, заглавная страница русской поэзии советской эпохи.

На наших глазах с каждым годом все более расширяется творческий мир Александра Блока. Происходит нечто большее, нежели просто проверка временем, — само время

наполняет мир поэта своим мощным дыханием и помогает нам лучше, глубже, вернее понять, о чем думал поэт, что сказал и как сказал.

Как всякий великий художник, Блок предстает перед нами в различных аспектах и ракурсах личности, жизни, творчества, судьбы. Главным источником остается, конечно, творчество. Но полноту представлений обеспечивает все остальное, что вышло из-под пера поэта, — блестящая проза, подкупающие искренностью и откровенностью дневники, богатое эпистолярное наследие, донные еще не собранное полностью.

Блок любил и умел писать письма. Он вел обширную переписку. Большая часть ее, нужно думать, уцелела, хотя есть крупные и крайне досадные невосполнимые утраты. Переписка поэта с невестой и женой — Любовью Дмитриевной Менделеевой-Блок (за небольшими исключениями не опубликованная), наряду с письмами его к матери, безусловно составляет наиболее ценный раздел эпистолярного наследия Блока.

Переписка эта носит глубоко личный характер. Но Блок был так беспредельно и безраздельно предан своему делу — делу художника, что и здесь, в переписке, он встает во весь рост именно как художник. Эта интимная переписка обретает полноту смысла и значения как органическая часть того идейно-психологического и духовно-нравственного единства, имя которому: личность и творчество Александра Блока.

## II

Переписка охватывает в общей сложности шестнадцать лет — с конца 1901 г. по июль 1917-го. В этот период укладывается почти весь творческий путь Блока — формирование его личности, созревание таланта, подъем литературной деятельности.

При всех обстоятельствах, трагически осложнивших семейную жизнь Блока, Любовь Дмитриевна до конца оставалась для него внутренне самым близким и дорогим человеком. Жизнь их разделила, но оба они берегли свою духовную связь. Отсюда — исповедальный тон переписки.

Более чем с кем-либо другим, кроме матери, Блок щедро и со всей откровенностью делился с Любовью Дмитриевной своими переживаниями, надеждами и сомнениями, самыми заветными и выношенными мыслями о жизни и об искусстве. «Никто, кроме тебя, не поможет мне ни в жизни, ни в творчестве», — заверял он Любовь Дмитриевну в роковом для него 1908 г., когда окончательно разладилось их общее существование. Проходит еще четыре тяжелых года — и он снова твердит, что, несмотря ни на что, им суждено «чувствовать все вместе».

Переписка Александра Блока с невестой и женой может быть рассмотрена в двух аспектах.

Во-первых, она раскрывает историю самой большой любви, когда-либо пережитой поэтом, и постигшей его семейной драмы. И то и другое нашло глубокое отражение в его творчестве.

Под таким углом зрения переписка освещена и истолкована в моем обширном очерке «История одной любви», к которому я позволяю себе отослать читателя, буде он пожелает взглянуть в перипетии семейной драмы Блока<sup>3</sup>. Впрочем, по ходу дальнейшего изложения мне придется в сжатом виде повторить главные выводы этого очерка (оставив в стороне всю фактографию).

Выводы эти выходят далеко за пределы собственно биографической темы.

Любовь и семейная драма Александра Блока не остаются просто частным случаем, но приобретают значение более общее. Они так ярко окрашены в «цвет времени», что могут рассматриваться как выразительный и поучительный эпизод из истории нравов верхушечного слоя русской дворянско-буржуазной интеллигенции предреволюционной эпохи — именно той ее части, которая испытала заметное воздействие угасавшей культуры старого мира. В широком смысле речь идет о декадентстве как эпохальном веянии, проникнувшем во все области умонастроений и даже жизнедеятельности людей данного круга — в идеологию, в мораль, в эстетику, в быт.

В Александдре Блоке были заложены и громадная сила отталкивания от того мира, в котором ему суждено было существовать, и мучительное ощущение своей зависимо-

сти от него. Общее поветрие декадентских настроений коснулось и его, не могло не коснуться. Но в том-то и сказалось душевное величие Блока, что он сумел понять историческую обреченность старого мира, а вместе с ним и своей среды, и сделал из этого понимания решительные выводы.

Так и в данном случае, обращаясь к переписке Блока с женой, говорить приходится не столько о влиянии декаданса, сколько о преодолении его — правда, ценой тяжелых издержек.

Александр Блок с особенной остротой ощутил точку пересечения своей индивидуальной судьбы с движением истории (это ощущение сближает его с Герценом). В пережитой им личной драме он видел закономерное отражение резких конфликтов и противоречий, преследующих человека в «страшном мире» позднебуржуазного общества. Этот человек, обреченный жить и действовать (а вернее — бездействовать) в бесчеловечных условиях угнетения и эксплуатации, обмана и унижения, потерял почву, утратил душевное здоровье, лишился целостного взгляда на происходящее в мире.

Чувство исторического неблагополучия, которое с такой впечатляющей силой воплотил художественный гений Блока, в личном, житейском плане распространялось на все, что окружало его в быту, — вплоть до соблазнов и обманов любви и миражных утешений «домашнего очага».

Заметив в одном из писем к жене (1908), что «едва ли в России были времена хуже этого», он тут же признается: «Пойми, что мне, помимо тебя, решительно негде найти точку опоры». Это признание осталось бесследственным: опереться на любимую женщину ему как раз и не было суждено.

Переписка отчетливо и почти равномерно делится на две части. Они резко различны по содержанию, тону, стилю.

В первой, говоря словами Блока, — «ранняя утренняя заря — те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь»<sup>4</sup>. Во второй — явь «холодного белого дня», сама жизнь, открывшаяся поэту во всей горькой правде и суровой обнаженности.

Первую часть составляют письма к невесте, относящиеся к 1902—1903 гг. В сущности, это один бесконечный страстный монолог влюбленного юноши, возведшего свое сердечное чувство в Абсолют и сделавшего возлюбленную центром некоего мифологизированного мира. Собственно говоря, это даже не письма в обычном значении слова, но целостная художественная структура, своего рода «поэма в прозе», тесно примыкающая к юношеской лирике Блока («Стихи о Прекрасной Даме»). Здесь — та же мистическая «проблематика» и в значительной мере та же стилистика. Не случайно, когда Блок в поздние годы обдумывал план нового издания «Стихов о Прекрасной Даме», он предполагал ввести в их художественную ткань отрывки из своих писем к невесте. Они должны были дополнительно обосновать жизненную достоверность и психологическую правду того, о чем говорили стихи.

Другое дело — письма последующих лет, начиная с 1907 г. В отношении их и возникает второй аспект рассмотрения. Это уже письма в обычном значении данного понятия. В основном они тоже носят глубоко личный характер. Но вместе с тем приобретают и серьезное историко-литературное значение, поскольку касаются многих сторон и отдельных знаменательных эпизодов тогдашней литературно-театральной жизни, содержит интереснейшие высказывания и оценки Блока, существенно дополняющие и уточняющие наши представления о художественных вкусах и убеждениях поэта, как сложились они в пору его творческой зрелости.

В письмах второго цикла нет того внутреннего (духовного) единства, которое обнаруживается в бурном потоке юношеских любовных откровений с их почти религиозной экзальтацией. Но в них есть другое (бесспорно высшее) единство — единство мысли и чувства зрелого, много пережившего на своем веку человека с обостренной совестью и громадной взыскательностью как к другим, так и — прежде всего — к самому себе, художника, посвятившего себя строгому подвигу служения во имя правды, искренности и нравственного назначения искусства.

Таков диапазон звучания переписки Александра Блока с невестой и женой, этого человеческого и вместе исторического документа, — от самораскрытия уединившейся

души, еще не нашедшей пути к миру, до глубокого обоснования (пусть по частным поводам) целостной эстетической программы, продиктованной понимаемым сложной, диалектической связью искусства и жизни, или, говоря языком Блока, их «нераздельности и неслиянности»<sup>5</sup>.

### III

Ранние письма рождались в самый разгар острых мистических переживаний, овладевших душой юного Блока и, как он сам отметил, сливавшихся с переживаниями романическими.

С чего все началось? Летом 1898 г. семнадцатилетний Саша Блок, только что окончивший гимназию и решивший поступить в университет, безоглядно влюбился в шестнадцатилетнюю Любу Менделееву, дочь великого, тогда уже всемирно известного ученого. На первых порах все шло, как и полагается при встрече столь юных существ. Он корректно «ухаживал», старался казаться взрослым и опытным (у него уже был известный опыт романических отношений со зрелой женщиной), тайно писал страстные стихи, исподволь «давал понять» о своем чувстве. Она, девица строгая и застенчивая, сперва держалась отчужденно, потом тоже почувствовала влечение к «пустому фату», каким он ей поначалу показался.

Все решил «Гамлет» — любительский спектакль в менделеевском Боблове, по соседству с бекетовско-блоковским Шахматовым. Он был датским принцем, она — Офелией. В темный августовский вечер, после спектакля, произошло нечто вроде — нет, не объяснения, а скорее намек на него. Тут-то и завязался тугой узел на всю их жизнь, — и ни распутать, ни разрубить его было им не суждено.

Проходит не так много времени — и Блок уже придает своей любви значение особое, «поуменьшальное», видит в ней жизненное претворение некоей «великой тайны».

Как разгадать, почему именно этот, а не другой человек вдруг начинает провидеть в действительности нечто таинственное, улавливать «бесконечное — в конечном», божественное в земном? Это лежит в самой природе его душевных переживаний, в особенностях психики. И этого подчас не объяснить ни воздействием среды, ни условиями воспитания. Парадоксально, что молодые русские поэты, начинавшие в самом конце XIX в. как носители платоновского начала, в лоне религиозной мистики (Андрей Белый, Александр Блок), вышли как раз из глубинных недр аристотелевской культуры, были сыновьями и внуками трезвейших позитивистов — математиков и естествоиспытателей.

Другое дело, что сама эпоха большого исторического рубежа, ломки старого общественного строя и зарождения нового, — эпоха, в которую выступили русские мистики, — в громадной мере способствовала возникновению подобных настроений и тенденций, создавала для них благоприятную почву. «Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу», — говорит Ленин, — есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, *каков* «укладывающийся» новый строй, *какие* общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы *способны* принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки»<sup>6</sup>.

В таких исторических условиях особенно легко совершаются крутые повороты от общественной практики, от реального дела в сторону чистого умоозерения и «незаинтересованного созерцания», всякого рода утопий и абсолютизаций неких абстрактных начал «мировой жизни» (Идея, Дух, Мировая Душа и т. п.).

Не приходится отрицать, что русские символисты «второй волны», с которыми Блок на первых порах связал свою литературную судьбу, тяготели к постановке и решению больших проблем познания и культуры. Андрей Белый, лидер этой группы, утверждал, что ее участники думали о «новом синтезе всех интересов, историй поднимающихся тем вокруг новой фазы человеческой жизни, в которой личные и конкретные отношения друг к другу (в любви, братстве, в проблемах пола, семьи и т. д.) должны были отображать сверхчеловеческие отношения космоса к логосу»<sup>7</sup>.

Вот это сопряжение личной и конкретной жизни с космосом и логосом (а не с историей, не с действительностью) и предопределило пути, а в конечном счете и судьбы этих искателей универсального синтеза. Предпринятая ими попытка осмыслить единство единичного и целого, личного и общего носила характер мистифицированный, поскольку относилась к абстрактной «мировой жизни», а не к конкретному историческому процессу.

Юного Блока с его мистическим предрасположением тревожили самому ему непонятные «знаки», которые он подмечал в природе и отчасти переносил на окружающий его человеческий мир. Свою безотчетную тревогу он таил от всех (об этом говорится в его автобиографии), но привык сопоставлять с загадочными «знаками» события своей внутренней, душевной жизни.

Некоторую опору нашел он в древней идеалистической философии, которую занялся в 1900 г. Платоновские идеи двоимирия, антиномии «духа» и «плоти» произвели на него сильное впечатление. В его разгоряченном воображении начинает «явно являться» Она — пока что еще безымянная, та, что потом окажется в его стихах Таинственной Девой, Вечной Девой, Владычицей Вселенной, Величавой Вечной Женой. Образ реальной земной героини ранней лирики Блока, его Офелии, постепенно сливается с «лучезарным видением», «принимает неземные черты» (так сам поэт впоследствии комментировал свои стихи).

Ответ на все мировые «загадки» и собственные недоумения подсказали стихи Владимира Соловьева, с которыми Блок познакомился весной 1901 г. Он придавал этому году громадное значение, считал, что он решил его судьбу.

В лирических стихах Соловьева нашел прямое отражение его мистические и эсхатологические идеи, преемственно связанные с учением Платона и новоплатоников. Центральное положение соловьевской спиритуалистики гласит о том, что земная жизнь — это всего лишь бледный отсвет и искаженное подобие потустороннего, постигаемого одной верой сверхчувственного мира «высшей» и «подлинной» реальности и что земное существование совместимо с духовным проникновением в «миры иные».

Не менее важную роль в теории и проповеди Соловьева играли христианские надежды на возрождение человечества к новой, лучшей жизни. Они были интерпретированы не в ортодоксально-церковном, но тоже в мистическом духе. Божественная сила, призванная возродить и преобразить человечество, в философских сочинениях и в стихах Соловьева воплощена в мифологическом образе Вечной Женственности (она же — Мировая Душа), что «в теле нетленном на Землю идет». Это — некое одухотворенное начало Вселенной, «единая внутренняя природа мира», и ей суждено в последние, предвещанные Апокалипсисом времена спасти и обновить мир, внести в него гармонию истинно человеческой жизни.

Все это произвело на Блока впечатление неотразимое. В его юношеской лирике и выражено в личном переживании предчувствие «грядущего переворота», должествующего наступить «ослепительного Дня»: «Верю в Солнце Завета, вижу зори вдали...». Хранительницей Солнца Завета, источником манищих зорь оказывается Она — Вечная Дева, в образе которой растворялась реальная «розовая девушка» — Люба Менделеева.

Отношения Блока с любимой девушкой вступили к тому времени в фазу решающую. «Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился», — записал Блок много лет спустя в дневнике. Там же — запись первостепенной важности: «Началось то, что «влюбленность» стала меньше призывая более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо»<sup>8</sup>.

Здесь Блок задним числом повторяет азы соловьевской метафизики любви. Кумир его юности учил, что «высшее идеальное единство», составляющее цель и смысл жизни, осуществляется в любви. В ней — наиболее полное проявление индивидуальности, залог цельности человеческой личности, торжество над смертью, мистическая «вечная жизнь». Смысл любви, разъяснял Соловьев, в том, что за другим существом признается «абсолютное, безусловное и бесконечное значение». Утвердить за другим существом такое значение можно только верой, и таким путем рождается высшая форма люб-

ви — «верующая любовь», которая хотя и отличается от эмпирической «инстинктивной любви», но связана с нею воедино, поскольку объектом той и другой служит «одно и то же лицо в двух различных видах, или в двух разных сферах бытия — идеальной и реальной»<sup>9</sup>.

Очень юный человек, сосредоточенный на своих темных переживаниях и целомудренно о них молчавший, а потом вдруг очертя голову полюбивший, «идеализировал» свою «инстинктивную» любовь в соловьевском смысле. В этой всеобъемлющей любви, казалось ему, открывался путь к истинному познанию. Все смелалось и в душе, и в раздумьях Блока, и в его стихах: юношеская влюбленность — и мысль о своей пророческой миссии, «розовая девушка» — и чей-то Лик, проступающий на огненном горизонте («Предчувствую Тебя...»), «суетливые дела мирские» — и «виденья, свиденья, голоса миров иных».

При всем том влияние Вл. Соловьева, испытанное юным Блоком, не следует абсолютизировать. Дальнейшее изложение покажет, что идеи и образы Соловьева послужили для Блока точкой отталкивания для построения собственной концепции личного духовного существования в соотношении с общей «мировой жизнью».

В 1901—1902 гг. Блок переживает высокий творческий подъем. Его лирический мир расширяется и усложняется за счет возникновения новых мотивов и сюжетов — «колдовства», «двойничества», «демонизма», «жесточкой арлекинады», тревожных предчувствий («Но страшно мне: изменишь облик Ты...»). В глубине погруженной в мистический транс души уже просыпается чувство будущего:

Будет день — и свершится великое,  
Чую в будущем подвиг души...

Таким Блок вступил в 1902 год, когда начал регулярную переписку с Любовью Дмитриевной (первые письма не были посланы по назначению и оставались либо среди бумаг Блока, либо в тетрадях его дневника).

Главные из событий, которые нужно держать в памяти, читая ранние письма, следующие: долгие прогулки по зимнему Петербургу с заходами в Казанский и Исаакиевский соборы, с припоминанием того, что происходит в петербургских романах Достоевского, с рассказами (его — ей) о Владимире Соловьеве, с бесконечным цитированием стихов. Далее — периодически возникавшие «кризисы» в их отношениях (в конце января Любовь Дмитриевна решила порвать с Блоком, после чего он разразился сумасбродно-завинченными письмами, угрозами убить себя, — этот эпизод освещен в набросках воспоминаний Любви Дмитриевны). Наконец — ночь с 7 на 8 ноября 1902 г., когда, после бала в Дворянском собрании, произошло их решительное объяснение и она дала ему слово стать его женой.

Дальнейшее — в переписке, которая после объяснения приобретает наиболее интенсивный характер, превращается в «поэму в прозе» и обрывается в июле 1903 г., накануне свадьбы,

#### IV

Если оставить в стороне малозначащие подробности бытового характера, Блок изо дня в день твердит в письмах к возлюбленной одно и то же, а именно — что любовь его непослана ему свыше, что произошло нечто из ряда вон выходящее, некое чудо, которое «недвижно дождалось случая три с половиной года» и не имеет ничего общего с «обыкновенными любовными отношениями».

В этой необыкновенной любви он обрел «силу своей жизни», познал «гармонию самого себя», угадал predeterminedенность своей судьбы. «Нет больше ничего обыкновенного и не может быть»; «Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе».

Нет спору, юный Блок долго оставался равнодушным к тому, что лежало за пределами его духовного мира, в частности — с презрекием отворачивался от всякого рода

«общественности». Но из этого не следует делать слишком прямолинейные, упрощенные выводы.

С самого начала Блок формировался как художник романтического склада и усвоил общеромантическое представление о высокой, пророческой миссии поэта, чувствующего связь с «мировым», «вселенским» и призванного содействовать торжеству «истины, добра и красоты». Поэт — чудодей, наделенный волшебной силой гармонии, преобразующей косный мир.

Хоть все по-прежнему *певец*  
 Далеких жизни песен странных  
 Несет лирический венец  
 В стихах безвестных и туманных,—  
 Но к цели близится *поэт*,—  
 Стремится, истиной влекомый,  
 И вдруг провидит новый свет  
 За далью, прежде незнакомой...

Блажен поэт, добром проникновенный,  
 Что миру дал незыблемый завет...

Соловьевская мистика лишь наслонилась на эти прописи и заповеди старого романтизма.

В основе такого представления о деле поэта лежало целое жизнепонимание, которое Борис Пастернак в применении к русским символистам, и в их числе к молодому Блоку, очень точно охарактеризовал как «понимание жизни как жизни поэта»<sup>10</sup>.

Смысл романтической формулы: «Жизнь и поэзия — одно» — не в том, что поэзия читается действительностью, но в том, что содержанием ее становится личная жизнь поэта, его духовный опыт. И обратно — поэт строит свою жизнь по типу, уже отложившемуся, нашедшему свою форму в стихах. Образуется взаимосвязь: личное переживание жизни служит предметом стихов; стихи — закрепляют образ поэта, его лирическое «я». Отсюда, между прочим, характерное для романтиков единство стиля их художественных произведений и человеческих документов (дневников, писем). Письма Блока к невесте — показательный тому пример.

И дело тут не в отдельных встречающихся переключках, но в общности душевного переживания и его словесно-образного выражения. Уже первое (если не считать совершенно незначительной записки делового характера) не отосланное по назначению экстатическое письмо от 29 января 1902 г., уснащенное соловьевской терминологией («неподвижное солнце» и т. п.), переключается с написанным в тот же день стихотворением «Я укрыт до времени в приделе...».

Тема письма: она таит в себе силу великой чистоты и святости, и в этом источнике он обретает силу собственной жизни, собственной душевной гармонии. Всякое «разделение» или «разлучение» с обожествленной возлюбленной для него губительно, означает не только духовное омертвление, но и физическую смерть, — и он молит и заклинает: «Зову я Вас моей силой, от Вас испещрей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей любовью, которой дышу в Вас». И вот как трансформировалась эта тема в стихах:

Мы с тобой подняться не успели,—  
 Загорелся мой тяжелый щит.  
 Пусть же ныне в роковом приделе,  
 Одинокий, в сердце догорит.

Новый щит я подниму для встречи,  
 Вознесу живое сердце вновь.  
 Ты услышишь сладостные речи,  
 Ты ответишь на мою любовь...

Мир поэта заключен в его душе, и только законами этого мира, установленными самим поэтом, определяются его дело, долг и судьба. Громче всех, пожалуй, сказал об этом Тютчев:

Лишь жить в себе самом умеи —  
Есть целый мир в душе твоей  
Таинственно-волшебных дум...

Однако мир, заключенный в душе поэта, вовсе не безразличен к «безбрежному океану» общей «божеско-всемирной жизни», говоря тютчевскими же словами. Поэт-романтик, живущий в себе самом, вместе с тем жаждет причаститься общей жизни, понимая под этим по преимуществу согласие со стихийными силами природы.

Так и в молодом Блоке билась и рвалась наружу настоящая, лишь до времени затаившаяся в глубине души жизненная сила. Только в то время она не нашла, да и не искала себе применения в сфере общественного бытия.

В том лирическом потоке, который захлестывает письма Блока к невесте, отчетливо прослеживается одна тема, идущая красной нитью из письма в письмо. Она отчасти помогает понять, почему из рыцаря Прекрасной Дамы, отрепившегося от действительности, вырос великий поэт, стремившийся воплотить и увековечить «все сущее».

Дело в том, что Блоку приходилось постоянно отстаивать и оправдывать свой мистицизм перед возлюбленной. Она по природе была, что называется, позитивистской натурой, да и воспитана была в духе уважения к реальности, к факту и опыту. Мистические завихрения Блока, его «сумасшедшие термины» (по его же словам) были ей не только чужды и непонятны, но и неприятны. «Пожалуйста, без мистики» — таково было обычное ее присловье. Она и порвать с Блоком решила именно потому, что усомнилась в непосредственности его чувства и хотела быть не «фантастической фикцией», созданной распаленным воображением мистика, а «живым человеком».

Поэтому Блок настойчиво разъяснял возлюбленной, что «сложность» и «вычурность» его рассуждений не более как внешняя, косноязычная форма подлинных переживаний и что вообще мистика в его понимании не есть способ ухода от жизни, но, напротив, источник жизненной силы, позволяющий ему воспринимать и переживать сущее — глубже, ярче, активнее. Вера его — не «теория», не нечто рассудочное, но идущее непосредственно от ощущения жизни, она — целиком «в пределах бытия». Блок твердит о «простом человеческом сердце своего существа», из которого, и только из него, выпевается «субстанция» его стихов.

Полноту ощущения жизни дает ему его любовь и сама личность возлюбленной: «В Тебе то, что мне необходимо нужно, не дополнение, а вся полнота моя»; «С тех пор, как Ты изменила внезапно всю мою жизнь, я чувствую с каждым днем все больший подъем духа. У меня столько энергии, сколько никогда не было»; «Ты — вся моя молодость, моя живая надежда, мое земное бытие»; «Ты — первая причина, заставившая меня вскрыть в себе свои собственные силы, дремавшие или уходившие на бессознательное. Я говорю Тебе, что мне никогда не было так легко воспринимать все жизненные явления, как теперь». И — как итог: «Свой «мистицизм» я уже пережил, и он во мне неразделен с жизнью».

Таким образом, письма Блока к невесте вносят существенную поправку в расхожее представление о первом периоде его творческой работы, проясняют картину его духовного развития, оттеняют в его юношеской лирике те мотивы, которые, в конечном счете, оказались решающими:

Я и молод, и свеж, и влюблен,  
Я в тревоге, в тоске и в мольбе...

Возникает вопрос: что же привело в движение дремавшие до поры жизненные силы поэта? Только одно — именно рано пробудившееся в нем чувство *тревоги*.

В реальных общественно-исторических закономерностях он еще не разбирается вовсе, и его не тянет к этому. Но в нем растет ощущение чего-то нового, незнакомого, очень тревожного.

Характерно в этом смысле письмо от 20 ноября 1902 г.: «Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи и в Москве, и в Петербурге. Бегают бледные, старые и молодые люди, предчувствуют перевороты... И волочат умы людей — и мой тоже».

Блок еще мистифицирует действительность и отчужден от происходящих в ней исторических, социальных процессов. Но в нем постепенно накапливается пока еще безотчетное, но властно берущее за душу предчувствие кризиса и перелома. Жизнь уединившейся души, устремленной в «миры иные», оказывается, как-то и в чем-то пересекается с общей жизнью в этом мире. «Мое тамошнее треплется в странностях века», — замечает Блок в том же письме.

И чем дальше, тем внимательнее вглядывается он уже не в загадочные потусторонние «знаки», но в столь же загадочные для него «странности века», чреватые «переворотами», и даже пытается разобраться в них.

Тема власти «века» над индивидуальной душой приобретает для Блока все большее значение, и он уже начинает в условиях времени, в ощущимом неблагополучии эпохи искать разгадку человеческих трагедий, той проклятой раздвоенности, которая истерзала современного человека.

В одном из мартовских писем 1903 г. Блок заговорил о расколоте человеческой души как о характерном и истинно трагическом явлении современной жизни: «Теперь у нас такое время, когда всюду чувствуется неловкость, все отношения запутываются до досадности и до мелочей, соображениям нет числа, и, особенно, в крайне резких и беспощадных чертах просыпается двойственность каждой человеческой души, которую нужно побеждать; если хочешь, даже марионетки, дергающиеся на веревочках, могут приходиться на ум и болезненно тревожить».

При этом делается многозначительный и решительный вывод: «Всему этому нет иного исхода, как только постоянная борьба и постоянное непременное ощущение того, что есть нечто выше и лучше, даже чище и надежнее, настоящее счастье, к которому нужно прийти так или иначе сознательно».

Очень важные слова! Здесь уже предвосхищены в известной мере проблематика и мотивы «Балаганчика» с его темой неподлинной, марионеточной жизни. Вот где, выясняется, берет начало постоянное для зрелого Блока тяготение к душевной цельности, стремление его разогнать назойливых «двойников», победить сомнения, преодолеть марионеточную издерганность души, чтобы прийти к жизни светлой, прекрасной, гармоничной. Наиболее замечательна уверенность двадцатидвухлетнего поэта в том, что путь к истинному счастью — это путь сознательной борьбы.

Через всю жизнь Блок пронес одно беглое и в общем-то случайное впечатление, вынесенное в юности. В его записной книжке под 23 июля 1902 г. есть кратчайшая и, казалось бы, ничего не говорящая запись: «Пели мужики».

Прошло без малого двадцать трудных лет — целая жизнь, полная душевных испытаний, неустанной работы мысли и воображения, напряженных поисков правды, удивительных художественных открытий, — и в марте 1921 г. уже «уходящий в ночную тьму» Блок в который раз возвращается к этому давнему воспоминанию в лирических заметках «Ни сны, ни явь».

Откуда же эта властная сила воспоминания о давно прошедшем и о чем, в сущности, это воспоминание? Что же случилось в июле 1902 г.?

Шахматовские господа, всем семейством, на закате пили чай под липами, — из оврага уже поднимался туман. В тишине стало слышно, как мужики, вышедшие косить соседний луг, начали точить косы. Вдруг один из них завел песню. «Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились. Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет... Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в далекий угол сада».

Почему смутились, почему стало неловко и защекотало в горле, почему убежал? Да потому, что песня мужиков растревожила душу, разбудила совесть, — как когда-то тревожила она, эта русская, полная боли и тоски песня, и Радищева, и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова.

«После этого все и пошло прахом», — говорит Блок дальше. Старая, еще казавшаяся

ся устойчивой жизнь стала расплзаться по швам. Песня — стихийно ворвавшийся в мирную тишину и смутивший «господ» голос народа — это, конечно, метафора.

Но за нею стоит нечто реальное: опущение катастрофизма эпохи, непрочности ее уклада и ее догм — государственных, общественных, правовых, моральных, — опущение, которое, как засвидетельствовал Блок, охватило его еще в юности, когда он был так далек от всякой «общественности»: «А что там неблагоприятно; что везде неблагоприятно, что катастрофа близка, что ужас при дверях, — это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией»<sup>11</sup>.

## V

Нужно принять в расчет, что в переписке есть более чем трехлетний перерыв, который пришелся на чрезвычайно важный период идейно-творческого развития Александра Блока. Этот отрезок своего пути (1904—1906) он прошел в обстановке назревания и подъема первой русской революции, интенсивно и стремительно — пережил кризис своего юношеского религиозно-мистического мировоззрения, перенес приступы скелсиса и жестокой иронии, обращенной на собственное прошлое («Балаганчик»), испытал соблазны декаданса и обрел выход к большим национально-историческим и социальным темам: Россия, народ, революция.

Эти годы оказались также временем резких конфликтов и надломов в личной жизни поэта. О них надобно сказать здесь хотя бы коротко, ибо без этого останется непонятным содержание дальнейшей переписки его с женой.

Перед свадьбой Блок и сам верил и невесту заверял, что встреча их — «на всю жизнь». Так и кавалось им обоим, а на деле все обернулось совсем иначе. Любовь Дмитриевна в набросках воспоминаний о Блоке и о себе сказала, что в ее семейной жизни с самого начала дала о себе знать «ложная основа». С этим приходится согласиться.

«Люблю Тебя страстно, звонко, восторженно, весело, без мысли, без сомнений, без дум», — писал Блок невесте. На деле же были и мысли и сомнения — не в том смысле, что он сомневался в своей любви, но касавшиеся самой природы ее.

Да, в Блоке копилась «жизненная сила». Но и гнездилась в нем мистическая схоластика. В противоборстве этих начал складывался его характер. При всех заверениях, что он, наперекор и вопреки умозрительным «теориям», следует зову «простого человеческого сердца» и придавая женитьбе значение громадное («самая важная вещь в моей жизни»), Блок, к несчастью, позволил «теории», причем совершенно ложной, возобладать над чувством. Результат оказался необыкновенно тяжелым.

В одном из ранних писем к Любови Дмитриевне Блок обмолвился, что никак не может «изобрести форму», подходящую для «весьма сложного случая отношений», которые завязались между ними. Сумасшедшая вера в возлюбленную как в «земное воплощение» божественного начала не допускала обычных, нормальных «форм». Владимир Соловьев возмечал, что «перенесение плотских, животное-человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая мерзость и причина крайней гибели».

У Блока не хватило решимости «повернуть все прощ», и он внушал трезвой Любе Менделеевой, что близость их не должна быть сведена к «вульгарным формам», которые способны лишь помешать установлению между ними душевной гармонии. Ближайший друг юности, экспансивный и ортодоксальный «соловьевец» Сережа Соловьев (племянник философа), со своей стороны, подливал масло в огонь, пускаясь в бредовые рассуждения об Афродите небесной (Афродита Урания) и Афродите площадной (Афродита Пандемос), о темной стихии астартизма, о «драконе похоти» (соловьевский образ), которого надлежит пизвергнуть в «бездну», чтобы реализовать торжество истинной, вечной и святой любви («белая любовь Иоаннова» христианских мистиков).

Между тем Любовь Дмитриевна ждала от брака того, чего ждет каждая нормальная, впервые полюбившая девушка, — полноты чувства и безусловности счастья. И она горько обманулась в своих простых ожиданиях. Дело осложнилось тем, что участники «белой любви» оставляли за собой свободу действий: астартизм нельзя было переносить в область «сверхчеловеческую», а в области просто человеческой он допускался.

Любовь Дмитриевна рассказывает, как Блок внушал ей, что отношения астартистические не могут быть ни прочными, ни длительными, что все равно «он уйдет к другим».

хотя такого рода уходы и не должны поколебать установившуюся между ними «гармонию». Она наивно спрашивала: «А я?» — «И ты так же», — отвечал он безжалостно. Впрочем, она продолжала еще ждать и надеяться. А когда надеждам уже не осталось места, сперва только «рыдала с бурным отчаянием», а потом, предоставленная сама себе, вступила на тот же путь. Так христианская мистика сплеталась воедино с декадентским нигилизмом — одна из характерных черт психологии и поведения определенного круга людей того времени.

В достаточной мере выяснена история сложных отношений Александра Блока с другим виднейшим представителем русского символизма — Андреем Белым (Борисом Николаевичем Бугаевым). Отношения эти начались с экзальтированной близости, прошли через затаенное недопонимание, взаимное отчуждение, открытую ожесточенную полемику, дуэльные вызовы, полный разрыв и завершились «далековатой дружбой»<sup>12</sup>.

Летом 1905 г. к идейно-литературному расхождению бывших побратимов, к тому времени уже явно определившемуся, добавился острый личный конфликт. Андрей Белый, до тех пор охваченный мистико-платоническим чувством поклонения Любви Дмитриевне как Прекрасной Даме блоковских стихов, попросту, самым «вульгарным» образом влюбился в нее, открылся ей в своей любви, а она, в свою очередь, посвятила в происшедшее Блока и его мать.

Началась длинная, трехлетняя изнурительная неразбериха, в ходе которой Любовь Дмитриевна то принимала, то отвергала любовь Андрея Белого и совершенно замучила и его и себя. Свойственная Белому душевная неуравновешенность сильнейшим образом осложнила жизнь всех трех втянутых в неразбериху лиц. Он попеременно то ссорился, то мирился с Блоками, клялся в любви и дружбе, упрекал и обвинял, каялся, требовал сочувствия, унижался, угрожал самоубийством.

Блок внешним образом занял в этой истории позицию сдержанного наблюдателя, отошел в сторону. Такая уклончивость, конечно, вносила дополнительные осложнения. Впоследствии Блок записал в дневнике: «Серезжа Городецкий, не желая принимать никакого участия в отношении своей жены ко мне (как я когда-то сам не желал принимать участия в отношении своей жены к Бугаеву), сваливает всю ответственность на меня (как я когда-то на Бугаева, боже мой!)»<sup>13</sup>.

Опуская подробности неразберихи, остановимся на итогах. После бесконечных колебаний Любовь Дмитриевна осталась с Блоком. Но к лету 1907 г., когда начинается вторая часть переписки, их общая жизнь была уже полностью расшатана.

Любовь Дмитриевна, пережив крушение своего мучительного романа с Белым, оказалась в трудном положении. Блок в это время (с декабря 1906 г.) испытывал сильнейшее кружение сердца, далеко вышедшее за границы обычных его увлечений (встреча с Н. Н. Волоховой, ставшая на целый период источником творчества: «Снежная маска», «Фаина», «Песня Судьбы»).

Решив остаться с Блоком (речь заходила о разводе), Любовь Дмитриевна была охвачена вполне понятным чувством растерянности и обиды (это ясно сказалось в ее дилетантских стихах, которые она начала сочинять). Блок, несмотря ни на что, продолжал заверять ее: «Ты важна мне и необходима необычайно», но, как вскоре выяснилось, переоценил силу своего воздействия на нее.

В поисках самоутверждения и внутренней эмансипации Любовь Дмитриевна ищет реальное дело — и находит его в театре, становится драматической актрисой и в феврале 1908 г. уезжает в длительную гастрольную поездку. Актерским талантом она не обладала, и театр в дальнейшем принес ей больше горя, чем радости.

Тут-то она и соскользнула на путь вседозволенности, которой так безответственно похвалялись в декадентско-интеллигентской среде во имя призрачной «свободы личности». Любовь Дмитриевна тоже называла это: «Найти себя». Начались ее «дрейфы» — пустые, ни к чему не обязывавшие романы и случайные связи. Привели они к последствиям для нее катастрофическим: ожидание ребенка, задержавшееся объяснение с Блоком (который «принял все», и чужого ребенка тоже), рождение и смерть мальчика (февраль 1909 г.), глубочайший душевный надлом.

О том, что творилось в это время в душе Блока, с необыкновенно впечатляющей силой говорят его тревожные и любящие письма к Любви Дмитриевне.

Жизнь переучивала, опровергала декадентскую ложь, заставляла учиться на собственных ошибках. Меняется представление о том, что такое личная свобода. Блок не только ставит в иронические кавычки расхожую декадентскую формулу: «свобода от всего рабского», но и сопровождает ее вопросом: «я от всего свободного?» (т. е. истинно свободного). Личность Александра Блока, естественно, заслонила личность его жены. Но нельзя, говоря по совести, не вникнуть и в ее человеческую драму.

Любовь Дмитриевну никак нельзя назвать личностью заурядной. В ней чувствовался человек нелегкого, крайне замкнутого характера, но, бесспорно, очень сильной воли и очень высокого представления о себе, с широким кругом духовных и интеллектуальных запросов, с жадным интересом к жизни и к людям и со своеобразным подходом к ним. Иначе почему бы Блок, при всей сложности их отношений, неизменно обращался к ней, к ее мнению и опыту в самые трудные минуты своей жизни?

Однако драмы, пережитые Блоком и Любовью Дмитриевной, — все же вещи разные.

Блок всю жизнь расплачивался за допущенную им роковую ошибку, и самой дорогой ценой — сознанием вины, терзаниями совести, отчаяньем. Он не переставал любить свою «единственную на свете» вопреки всему, что с ними обоими происходило. Она — «святое место души». В 1910 г. он записывает: «Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь... Люба на земле — страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но — 1898 — 1902 (годы) сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее». И через семь лет: «Никогда не умел ее любить. А люблю»<sup>14</sup>.

С нею же все повернулось гораздо проще. Серьезных душевных мук она не испытывала, смотрела на вещи трезво и эгоистично. Целиком уйдя в свою личную жизнь, она в то же время взывала к жалости и милосердию Блока, утверждая, что если он оставит ее, она погибнет. «Если откажешься от меня, жизнь моя будет разбитая. Фаза моей любви к тебе — требовательная. Помогни мне и этому человеку», — говорила она Блоку в разгар очередного своего увлечения<sup>15</sup>. И он помогал.

Он оставался для нее «надежным», потому что она хорошо знала его благородство и верила в него. И он принял на себя эту тяжелую миссию.

Я не только не имею права,  
Я тебя не в силах упрекнуть  
За мучительный твой, за лукавый,  
Многим женщинам сужденный путь...

Эта прядь — такая золотая  
Разве не от старого огня? —  
Страстная, безбожная, пустая,  
Незабвенная, прости меня!

## VI

Эта личная драма со всеми ее житейскими обстоятельствами, тяжелыми переживаниями и бурными конфликтами, просвечивающими в переписке, стала предметом высокого искусства — в творческом преображении вошла важнейшей темой в лирику Александра Блока и тем самым приобрела многозначность и общезначимость.

Именно в этом прежде всего и заключается первостепенное *литературное* значение писем поэта к его жене.

Бесконечная, тянувшаяся из года в год путаница отношений с Любовью Дмитриевной была для Блока источником тяжких душевных мучений. Но она же питала его гворчество, и мы обязаны ей возникновением многих лирических шедевров поэта.

Образ «единственной на свете», сладостные и горькие воспоминания о том «чудесном», что происходило в 1898—1902 гг., сознание своей вины и безвыходности того, что случилось, — эта нить в лирике Блока не рвется до самого конца.

Но вот что самое главное: в данном случае обнаруживается нечто большее, нежели простое «отражение» личной драмы в стихах (какое находим, к примеру, в знаменитых

стихотворениях «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Приближается звук...» или «Перед судом»).

Она, эта личная драма, преобразившись в явление искусства, органически вошла в общий исторический и идейно-правственный контекст поэзии Блока. Такое проникновение интимно-личного в общее, в историческое объясняется спецификой стиля и поэтики зрелого Блока.

История, время всегда присутствуют в том, что написал Блок. В основе его творческой работы лежал принцип нерасторжимого единства частного и целого, личного и общего в целостном ощущении данного исторического момента, эпохи.

«Личная страсть» поэта, доказывал Блок, «всегда насыщена духом эпохи». Время внушает поэту не только идеи, темы, содержание стихов, но и их ритмы и даже размеры, — «ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он «свое» и «не свое»; поэтому в эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой»<sup>18</sup>.

Буря и тревога. Эти слова ближе и точнее всего обозначают самое существо поэзии Блока, ее природу и атмосферу. Трагическое ощущение катастрофичности эпохи проникает в этой поэзии и в частное бытие человека. Буря жизни, бушующая вокруг поэта, потрясла и его личный мир, приобщила его человеческую судьбу к тому, что происходит в большом, общем мире.

Поэтэму в стихах Блока самые, казалось бы, сокровенные события его душевной жизни оказываются связанными очень тонкими, подчас нелегко уловимыми ассоциациями и соотношениями с самыми широкими, общими темами.

С особенной, пожалуй, наглядностью можно проследить эти глубинные связи в стихах, так или иначе вызванных к жизни отношениями Блока с его «единственной на свете».

Ограничимся несколькими примерами.

В стихотворении «Ангел-Хранитель», написанном в самый разгар первого акта семейной драмы (август 1906 г.), все личное не включено даже, а впаило в горестные раздумья о человеке, теряющем волю к борьбе за свою свободу и достоинство, за свое будущее.

Стихотворение проникнуто некрасовским пафосом душевного страдания, упреков совести, гнева и мести (в тексте обнаруживаются следы прямого воздействия Некрасова). И не случайно оно подверглось цензурному гонению за «возбуждение к тяжким и преступным деяниям».

Личный конфликт в этом стихотворении, дышащем гражданским пафосом, объясняется через историю, через обстановку времени, через судьбу страны и народа, честицей которого ощущает себя лирический герой:

...За то, что не любишь того, что люблю,  
За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить.  
За то, что хочь и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,  
Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных в тюрьму,  
Кто долго не верил огню моему.

Кто хочет за деньги лишить меня дня,  
Собачью покорность купить у меня...

За то, что я слаб и смириться готов,  
Что предки мои — поколение рабов,

И нежности ядом убита душа,  
И эта рука не поднимет ножа...

А вот пример такого же органического, но гораздо более сложного и тонкого слияния личного и общего. Речь пойдет о стихотворении «Ты отошла — и я в пустыне...» (1907), которым Блок неизменно открывал в своем трехтомнике важнейший раздел «Родина».

Стихотворение это и воспринимается как типическое произведение гражданственно-патриотической лирики Блока, — говорится в нем, бесспорно, о родине, России, «родной Галилее».

Однако из переписки поэта с женой узнаем, что стихи эти непосредственно вызваны были глубоко интимными переживаниями, связанными с их разладом, и поначалу обращены были не к кому иному, как к ней.

Не следует думать, однако, что Блок, написав стихи к жене, в дальнейшем просто «переосмыслил» их, переадресовав родине. Нет, в том-то и суть дела, что в собственно поэтическом, семантическом смысле стихотворение двупланно и вместе с тем целостно.

Понятия «жена» и «родина» здесь взаимодействуют. Они вмещены в один емкий образ, играющий разными гранями смысла. (Нужно иметь в виду, что у Блока, в отличие от старых русских поэтов, родина, Россия — чаще всего не мать, а именно жена или невеста, красавица-возлюбленная.)

Также и Сын Человеческий в этих стихах — одновременно и лирическое «я» поэта, и некий обобщенный образ гонимого по миру несчастного человека, подсказанный воспоминанием об евангельском Христе, пришедшем в мир, чтобы собственным страданием искупить грехи всего человечества.

И потому интимно-лирическая тема, расширяясь в своем значении, наполняется историческим содержанием, и стихи воспринимаются уже не как обращение к любимой женщине, которая «отошла» от поэта (в смысле реально-жизнейском) и стала жертвой обывательской «дикой молвы», но как нечто сказанное о судьбах родины и ее обреченного на скитания сына:

И пусть другой тебя ласкает,  
Пусть множит дикую молву:  
Сын Человеческий не знает,  
Где приклонить ему главу.

Другой выразительный пример столь же тесного, но еще более сложного сплетения мотивов жены-родины и жены-возлюбленной, ждущей возвращения своего «князя», — в стихотворении «В густой траве пропадешь с головой...» (1907). Так же двойится образ жены и в стихотворении «Осенний день» (1909), где в первой строфе содержится обращение к женщине, спутнице («Идем по живью не спеша, с тобою, друг мой скромный»), а в заключительной — возникает обычное у Блока взаимопроникновение образов родины и возлюбленной:

О, нищая моя страна,  
Что ты для сердца значишь?  
О, бедная моя жена,  
О чем ты горько плачешь?

Такое расширение лирической речи входило в творческую задачу Блока и в гениальном стихотворении «Под шум и звон однообразный...» (1909), тоже связанном с переживанием личной драмы.

В основе своей стихотворение обращено к любимой женщине, которую безрас судно покинул лирический герой и в возвращении к которой он видит свое спасение.

Под шум и звон однообразный,  
Под городскую суету  
Я ухожу, душою праздный,  
В метель, во мрак и в пустоту...

Метель, мрак, пустота здесь (как и обычно у Блока) — это не просто конкретности данного случая, не просто метельная и темная ночь. Семантическая природа лирики Блока такова, что образы эти обозначают нечто более общее: мрак и пустоту «страшного мира». Сила поэтического обобщения, которая была так доступна Блоку, превращает стихотворение в исповедь «сына века», обращенную уже не к частному (к любимой, но покинутой женщине), но к целому (к некоему духовному идеалу, которому «изменил» лирический герой).

Что, если я, замороженный,  
Сознания оборвавший нить,  
Вернусь домой униженный, —  
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели  
Путеводительный маяк,  
Простишь ли мне мои метели,  
Мой бред, поэзию и мрак?

В разговор о себе и о своем («Ты можешь ли меня простить?») свободно, естественно вторгаются иные ноты, иные — многозначительные — образы, имеющие в поэзии Блока устойчивое смысловое значение: «дальняя цель», «путеводительный маяк».

И такая трансформация смысла закономерно вызывает представление о родине, о гражданском призвании поэта, что и выражено с полной отчетливостью в заключительной строфе:

Иль можешь лучше: не прощая,  
Будить мои колокола,  
Чтобы распутица ночная  
От родины не увела?

Здесь знаменателен, полон глубокого смысла весь образно-семантический строй стихотворной речи. Метели, бред, мрак, пустота, ночная распутица — это образы того темного, что посягает на душу и мысль поэта. Но за мраком и бредом есть в жизни иное — светлое, благородное, обнадеживающее, что будит в душе «колокола», исторгающие высокие и чистые звуки. И это влекущее и желанное, хотя и труднодоступное, воплощается в произнесенном под самый конец слове: родина.

Произнося это большое, ответственное слово, Блок одновременно думал и о той, к кому стихотворение, в тесном смысле, было обращено. Недаром же, делаясь с Любовью Дмитриевной трагическим переживанием реакции, камнем навалившейся на Россию, он тут же признавался, что, кроме как в ней, в своей Любе, ему негде найти «точку опоры».

И когда Блок рисует картины «страшного мира», он не может отрешиться от памяти о своей личной драме, которая, как он понимает, есть тоже порождение этого мира, покалечившего души людей, расшатавшего их нравственные устои.

Вот одно из наиболее сильных и характерных стихотворений этого плана — «Ночь — как ночь, и улица пустынна...» (1908). Безвыходность существования, призрачность счастья, бессильное богоборчество — все эти мотивы интегрируются в болезненном ощущении «сырой мглы», окутавшей мир. Но и здесь звучит пронзительная нота личной беды:

Для кого же ты была невинна  
И горда?

И обратно: в «своем», личном — неизменно сквозит историческое. Даже воспоминание о «меховой шубке», в которой когда-то, давным давно, в памятный день, была любимая девушка, переплетается с размышлением о «мировой чепухе», какую представляется поэту окружающая его неблагополучная жизнь.

Над человеческим созданием,  
 Которое он в землю вбил,  
 Над смрадом, смертью и страданием  
 Трезвонят до потери сил...

Над мировую чепухую;  
 Над всем, чему нельзя помочь;  
 Звонят над шубкой меховой,  
 В которой ты была в ту ночь.

Так личная драма, о которой мы узнаем из второго цикла писем Блока к жене, громко откликнулась в лирических сюжетах, сообщивших его поэзии такую громадную, эмоционально заразительную драматическую силу.

## VII

В письмах второго цикла возникает уже совсем другой Блок. От восторженного юноши, погруженного в мистические фантазии, ничего не осталось. Перед нами художник суровый и гневный, строгий судия, беспощадный ко всякого рода лжи и безответственному «легкому веселью».

Для этого нужно было во многом, чему Блок на первых порах поверил, усомниться, многое переоценить и отвергнуть. И прежде всего — собственное декадентство, которое после «Стихов о Прекрасной Даме», в эпоху «Балаганчика», «Нечаянной Радости» и «Снежной маски», притягивало его своими соблазнами, но которое он научился ненавидеть. И еще ему нужно было преодолеть упорное сопротивление той общественной и художественной среды, которая его окружала и не хотела выпустить из своих цепких объятий.

Непросто было Блоку прийти к убеждению (высказанному в самое глухое время реакции), что «современная жизнь есть кощунство перед искусством, современное искусство — кощунство перед жизнью»<sup>17</sup> и что только революционное преобразование жизни способно привести к новому подъему и расцвету искусства. Позже он в таких четких выражениях сформулирует свою выношенную мысль: «Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества»<sup>18</sup>. (Под «цивилизацией» Блок понимал механистическую, «безмузыкальную» цивилизацию буржуазной эпохи, которую он противопоставлял духу истинной гуманистической, целостной культуры.)

Наиболее важно понять внутреннюю логику пути, пройденного Александром Блоком. Множество препятствий возникало перед поэтом, когда он буквально *пробивался* к жизни, к народу, к революции после тщетных блужданий в лабиринте мистических утопий и всяческого утонченного спиритуализма. Касаясь своих ранних стихов, Блок говорил о «*тюрьме сладких гармоний*», в которую он «*засадил юношу*» — самого себя<sup>19</sup>. Вырваться из этой тюрьмы — значило переступить через самого себя. Это всегда страшно трудно, неизбежно связано с тяжелыми издержками. Но дело решают не издержки, а достижения.

Именно то время, когда берет начало вторая половина переписки Блока с женой, оказалось в творческой биографии поэта резко обозначившимся *рубежом*.

Весной 1907 г. Блок записывает для себя: «Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нем цветет лицо человека — маленького и могучего. Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т. д. Мистики и символисты не любят этого — они плюют на «проклятые вопросы», к сожалению. Им впрочем, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылышком собственного «я»... Они слишком культурны, потому размениваются на мелочи (индивидуализм), а реалисты — «варвары». Мысли знакомые»<sup>20</sup>.

Тут в немногих словах заложена целая программа. Ее-то Блок и попытался реализовать в 1907—1908 гг. в обширном цикле литературно-критических и публицистических выступлений, проникнутых боевым, наступательным духом. Как известно,

выступления эти вызвали сильное раздражение в декадентско-символистской среде и привели Блока к открытому разладу с «лучшими друзьями» и непрошенными «покровителями», начиная с Андрея Белого и Мережковских.

Весьма значительна мысль Блока о том, что мистики и символисты преобременены культурой — и потому «размениваются на мелочи».

Своего рода исторический парадокс был в том, что «новейшие течения» в общеевропейском искусстве позднебуржуазной эпохи питались угасавшей культурой старого мира, истощившей себя в решении утонченных, но измельченных задач.

Большое, жизнеспособное искусство дышит художественным обобщением, духом интеграции. Оно вырабатывает взгляд на мир как на целое, воплощает в образе то «единство во множественности», которое составляет важнейший принцип реалистической эстетики.

Декадентское же (в широком смысле этого понятия) искусство, напротив, уничтожает представление о цельности, раздробляет жизнь на лишенную единства множественность разрозненных явлений. Так и русские символисты чаще всего уходили от постановки и решения больших проблем, поскольку оказывались бессильны построить целостную концепцию мира.

В эпоху «александрийского» заката старой культуры даже высокоодаренные художники истощали себя в атомистической раздробленности мысли и, соблазненные «духом мелочей, прелестных и воздушных», разменивали и жизнь и искусство на эlegantные пустяки. Отсюда — столь характерные для художественной практики декаданса судорожные поиски непременно «новой» формы, как правило, не наполненной серьезным содержанием, демонстрация всякого рода мелочных «открытий» и «изобретений», лишенных подлинной эстетической ценности.

Блок, начиная с 1907—1908 гг., нисколько не претендуя на роль теоретика, охотно уступая ее Брюсову, Вячеславу Иванову, Белому и исходя только из собственного опыта, единственный из русских символистов, смотрел в корень — думал и говорил о самом простом, но и самом важном: «Нигде не жизненна литература так, как в России, и нигде слово не претворяется в жизнь, не становится хлебом или камнем так, как у нас»<sup>21</sup>.

С полной свободой подходил Блок к самым большим и самым насущным, пусть «старым», но всегда неотвратимым вопросам искусства. Такая свобода свойственна только гениальным художникам, которые любой, казалось бы уже решенный, вопрос ставят и решают словно впервые.

Мысль Блока неделима. Он не разграничивает эстетику и этику. В замечательной статье «Три вопроса» (февраль 1908 г.) он обращается к одной из «вечных» проблем классической русской эстетики, которую декаденты высокомерно игнорировали, — к соотношению между прекрасным и должным.

Блок устанавливает, что вопрос «как» (вопрос о формах искусства) уже решен: овладение формой стало делом настолько легким и общедоступным, что для ловкого имитатора уже ничего не стоит заключить в красивую оправу стекляшку вместо брляя та.

Перед настоящими художниками, призванными оберегать русскую литературу «от вторжения фальсификаторов», вырос второй вопрос — о содержании, о том, «что имеется за душой у новейших художников, которые подозрительно легко овладели формами?»

А за этим неизбежно возникает и властно требует ответа третий, самый острый, самый тревожный вопрос — «зачем?»: «Перед русским художником вновь стоит неотступно этот вопрос *пользы*... К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота о *долге*, о должном и недолжном в искусстве». И Блок отвечает на этот третий вопрос с полной прямоотой, без каких-либо оговорок и околичностей: «В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем».

Вариант ответа — в письмах Блока к жене. «Не забывай долга — это единственная музыка. Жизни и страсти без долга нет», — предупреждает он Любовь Дмитриев-

ну в марте 1908 г., сразу после того как была написана статья «Три вопроса». В том же письме — знаменательное признание: «Беспочвенности и усталости я одинаково не принимаю к сердцу, — им нет места среди нас — художников».

Спрашивается, что означает «беспочвенность» в понимании Блока? Именно то, что содержится в самом понятии: утрату почвы, корней. Прежде всего — агрофию необходимой для художника способности размышлять «о живом, о том, что во времени и пространстве». Но также — и забвение заветов и традиций национальной культуры, притом культуры гуманистической, прогрессивной, демократической. Всякого рода новомодные трескучие и пустопорожние идеи и программы, вроде «мистического анархизма», встречают отпор у Блока прежде всего потому, что он обнаруживает в них «не бережное» отношение к культуре. Перечитывая русских классиков и наблюдая в Шахматове крестьянскую жизнь с ее неотразимой и жестокой правдой, Блок мечтает о создании журнала «с традициями добролюбовского «Современника».

Владевшее Блоком романтическое чувство неотвратимо надвигающегося всемирно-исторического перелома, неизбежного конца старого мира было неотделимо в его сознании от задачи возвращения национальной культуры на благодатную почву общенародной жизни — и тем самым обновления ее. «Приобщение к народной душе» становится для Блока наивысшим критерием оценки всякой духовной деятельности, в первую очередь — дела художника, писателя, несущего особо высокую ответственность перед народом. С народом — все пути, в народе — все надежды.

Народ — венец земного цвета,  
Краса и радость всем цветам:  
Не миновать господня лета  
Благоприятного — и нам.

Конечно, не следует нарочито выпрямлять сложный, в перспективе неуклонный, но отнюдь не однолинейный путь Блока и сглаживать резкие противоречия его мировоззрения, наложившие печать и на его творчество. Но вместе с тем нельзя не заметить, что на пути поэта возникали и внешние, независимые от его воли препятствия, которые, в свою очередь, замедляли переход его на позиции общенародного искусства. Нужно было написать «Двенадцать» и «Скифов», чтобы этот переход стал очевидным для всех. Но в годы реакции, несмотря на глубокий внутренний разлад с лидерами символизма, определившийся уже в 1908 г., Блок внешним образом, формально числился «по этому ведомству», и лишь очень немногие, наиболее чуткие и тонкие читатели понимали, что он перерос всех поэтов символизма и встал вровень с великими лириками прошлого.

А сам Блок между тем жадно искал выход к большому читателю. Знаменателен в этом смысле эпизод с несостоявшимся, в конечном счете, приглашением Блока к участию в горьковских альманахах «Знание». Из переписки поэта с женой видно, сколь важное значение придавали они оба этой приоткрывшейся было возможности. Блок хотел отдать в «Знание» лучшее, чем тогда располагал, — «Вольные мысли». В этих гениальных стихах, может быть, с наибольшей художественной силой и прямотой отразился пережитый Блоком духовный кризис, и легко представить себе, каков был бы литературно-общественный эффект своевременного появления такого Блока в издании, снискавшем прочные симпатии широкого круга демократических читателей.

Но Блоку выпало на долю в одиночестве делать свое дело, идти своим путем, вырабатывать свою эстетику и поэтику.

Свой творческий путь Блок осмыслил как «вочеловечение»: «Один — и за плечами огромная жизнь — и позади, и впереди, и в настоящем... Настоящее — страшно важно, будущее — так огромно, что замирает сердце, — и один: бодрый, здоровый, не «конченный», отдохнувший. Так долго длилось «вочеловечение», — пишет он Андрею Белому в марте 1911 г., в разгаре работы над поэмой «Возмездие»<sup>22</sup>.

Незадолго перед тем он признался матери: «Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла».

Именно в поэме «Возмездие», проникнутой, как заметил сам поэт, «яростной ненавистью» к царизму и всем его порождениям, как и в отпочковавшемся от поэмы цикле гражданской лирики «Ямбы», особенно ясно видны устремленность Блока в будущее, жадное ожидание им неотвратимо приближающихся великих социальных перемен, складывавшаяся в его сознании концепция «юной» — могучей и обновленной — России, «мужающей в сердце русской революции».

## VIII

Вокруг понятий правды и лжи, долга и безответственности, основательности и беспочвенности, человечности и марионеточности применительно к искусству и завязался спор, который вел зрелый Блок в письмах к жене. Поскольку Любовь Дмитриевна связала свою судьбу с модернистским театром, суждения Блока касаются, главным образом, этой области искусства.

Вот характерная запись в дневнике Блока от 11 октября 1912 г.: «Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разговоров. Модернисты все более разлучают ее со мной»<sup>23</sup>.

Исходя из своих мыслей о пользе и общественном назначении искусства, Блок в письмах к жене особо останавливается на глубоко заинтересовавшем его вопросе о «народном театре», обращенном к «свежей публике» и способном не только просветительно «поучать со сцены», но и воплотить в своей практике самую суть большого искусства. Эта задача, доказывает Блок, не по плечу модернистам, у которых «нет стержня, а только — талантливые завитки вокруг пустоты».

В эстетике Блока очень важное место занимает антиномия красивого и прекрасного. Красивое — это не более как нарядная, но дешевая оболочка, прикрывающая никчемность или полную пустоту содержания. Еще в 1908 г. умело написанные стихи бывшего своего друга Сергея Соловьева Блок отдает самому строгому, можно сказать — беспощадному осуждению именно за «ловкость», с которой они сложены, за изобретательные рифмы и лощеную гладкость, потому что за всем этим словесным фейерверком чувствуется «полное пренебрежение к внешнему миру»<sup>24</sup>. Прекрасное — единственный верный критерий художественности, потому что в нем гармонически объединяются «красота» и «польза».

Отсюда ясно, почему столь решительный протест Блока вызывал эстетский (в ту пору) театр Всеволода Мейерхольда. Блок высоко ценил талант этого смелого реформатора русской сцены, осуществленную им в 1906 г. постановку «Балаганчика» назвал «идеальной». Но дальнейшее направление творческих исканий Мейерхольда встретило со стороны поэта самый резкий протест.

Блок хотел видеть на сцене лицо живого человека, а не надетую на него нарядную или комическую маску. Он утверждал, что Мейерхольд как художник «погибнет, если не опомнится, не бросит вовсе кукольное и не вернется к человеку».

Кукольное на языке Блока — синоним формалистического. Тут приоткрывается очень важная сторона эстетических воззрений Блока — его постоянный, резкий, бескомпромиссный протест против всяческого шугарства в искусстве.

Блок считал, что искусство требует столь же осторожного с ним обращения, как, скажем, радий. Малейшая доля искусства (не фальшивого, а настоящего) способна чудесным образом «радиоактивировать» все, к чему прикоснется художник, даже «самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное»<sup>25</sup>.

Поэтому, говорил Блок, не следует «перегружать произведение искусства искусством», или, как стали говорить позже «обнажать прием». Художник должен быть строго экономным в расходовании «радиоактивных» средств искусства. Перегрузка в этом отношении, всякого рода излишества и ухищрения только мешают искусству. И в этом смысле полноценные художественные создания отличаются тем, что в них «больше не искусства, чем искусства».

Человек и человеческое — самая заветная тема размышлений Блока об искусстве в 1912—1913 гг. Человек — как предмет искусства, человечность — как мерило его

(искусства) ценности. Мысли Блока на данную тему были тесно связаны с его очередной творческой работой — созданием драмы «Роза и Крест».

Блок придавал этому произведению очень большое значение («написал наконец настоящее»), хотел сказать в нем о самом дорогом, выношенном, глубоко пережитом.

Не приходится, конечно, искать в этой драме, написанной на материале французского средневековья, прямого отражения того, что происходило в 1912—1913 гг. между Блоком и Любовью Дмитриевной. Но вместе с тем нельзя не заметить, что в момент, когда отношения их претерпевали новое сильнейшее испытание, он был поглощен работой над произведением, главное в котором — трагедия человеческой любви, не «духовной» и не «астартической», а именно человеческой.

«Роза и Крест», как разъяснял Блок, прежде всего «драма человека Бертрана», который искал примирения «Розы никогда не испытанной Радости с Крестом привычного Страдания»<sup>25</sup>. Бертран беззаветно (и безответно) любит «темную и страстную», «хищную, жадную, капризную», наделенную «здравым смыслом» графиню Изору. Но она неспособна «оценить преданную человеческую только любовь, которая охраняет незаметно и никуда не зовет». В этой трудной любви раскрывается сила и красота человеческого самопожертвования.

Особенно значительна в этом смысле финальная сцена драмы, когда истекающий кровью верный Бертран стоит на страже любовного свидания Изоры с пошлым красавчиком Алисканом. Едва ли будет натяжкой увидеть за этой сценической ситуацией отсвет действительных событий, о которых мы знаем из писем и дневников Блока за 1912—1913 гг.

«Искусство связано с нравственностью», — утверждал Блок. Нравственное начало, которым всецело проникнута «Роза и Крест», стало для зрелого Блока самой сутью истинного искусства. Этой мерой он мерил все в современном искусстве, в том числе и то, что еще недавно казалось ему близким и значительным и оставалось таковым для Любови Дмитриевны, восторженной поклонницы Мейерхольда. Таким образом, и на эти, неличные, темы они тоже говорили уже не на одном языке, как было прежде, в молодости.

Начиная в тяжелом для него 1912 г. дневник, Блок размышлял о том, что когда люди, «долго пребывавшие в одиночестве», выходят в настоящую жизнь, они часто оказываются беспомощными, и, чтобы «не упасть низко», чтобы устоять в «буре русской жизни» или хотя бы «иметь надежду подняться, оправиться, отдохнуть и идти к людям», они должны обрести в себе главное и решающее — «большие нравственные силы»<sup>27</sup>.

В обретении нравственных сил и заключался пафос идейно-художественных исканий Александра Блока. Буря русской жизни подняла его на свой гребень, и на этой высоте в полную меру проявились владевшие им чувства совести и правды, ответственности и долга.

Переписка поэта с женой завершается 1917 годом в преддверии жизненного подвига и высшего творческого свершения Александра Блока — признания им величия и всемирно-исторического значения Октябрьской революции и создания поэмы «Двенадцать».

Любовь Дмитриевна в набросках своих воспоминаний (см. наст. том, стр. 380) прекрасно сказала, что нельзя было жить вместе с Блоком и не почувствовать обжигающего дыхания революции. Дыхание это ощутимо и в их переписке. В замечательном письме от 21 июня 1917 г. Блок писал: «Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия».

Содержанием всей жизни!..

Нужно отдать справедливость Любови Дмитриевне. В ответственной час истории она встала рядом с Блоком.

В трудных условиях первых послереволюционных лет связывавший их (так или иначе) дух «товарищества» окреп. В истории русской советской литературы заслуживает быть отмеченным тот факт, что первым исполнителем «Двенадцати», причем не только в художественно-интеллигентской, но и в рабочей, солдатской, матросской аудитории была Л. Д. Блок (под театральным псевдонимом: Басаргина).

В первую годовщину Октября Блок записал: «Празднование октябрьской годовщины с Любой... Исторический день — для нас с Любой полный... Днем в городе — украшения, процессия, дождь у могил. Праздник... Никогда этого дня не забыть»<sup>28</sup>.

Смерть Блока потрясла Любовь Дмитриевну. Сохранилось письмо ее к младшей сестре: «Сашина смерть — гибель гения, не случайная, подлинная, оправдание подлинности его чувств и предчувствий. И мое состояние — как мы представляем себе после смерти — все понятно, все ясно и тихо. Сердце мое уже по ту сторону жизни и неразрывно с ним».

На этой умиротворенной, но щемящей ноте обрывается исполненная восторгов и отчаяний, обманутых надежд и неизбежной горечи житейская повесть, зеркалом которой служит публикуемая здесь переписка.

Но писал эти письма действительно гений, художник необыкновенной силы, неотразимого обаяния. И тем самым общее, историко-литературное значение переписки, конечно, гораздо шире, нежели то, которое можно извлечь из пережитой корреспондентами тяжелой драмы.

В письмах неизменно присутствует громадная литературная личность Блока, через заблуждения и метания стремительно двигавшаяся к постижению и художественному претворению правды жизни и исторической правды века, что и сделало его, Александра Блока, великим национальным поэтом.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 78.

<sup>2</sup> А. Блок. Собрание сочинений в восьми томах. М.—Л., 1960—1963. т. 7, стр. 355 (в дальнейшем указываются только том и страница).

<sup>3</sup> Вл. Орлов. Пути и судьбы. Литературные очерки. Изд. 2. М., 1971, стр. 636—742.

<sup>4</sup> А. Блок, т. 2, стр. 371.

<sup>5</sup> Там же, т. 3, стр. 296.

<sup>6</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 102.— В. И. Ленин указывает, что такой эпохой «ломки» в России был период с 1862 по 1904 г.

<sup>7</sup> Андрей Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке.— «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 22.

<sup>8</sup> А. Блок, т. 7, стр. 344.

<sup>9</sup> В. С. Соловьев. Смысл любви.— Собр. соч., т. 7. Изд. 2, б. г., стр. 44.

<sup>10</sup> Борис Пастернак. Охранная грамота. Л., 1931, с. 112.

<sup>11</sup> А. Блок, т. 6, стр. 131.

<sup>12</sup> См. мою статью «История одной дружбы-вражды».— Вл. Орлов. Пути и судьбы. Литературные очерки. Изд. 2. М., 1971, стр. 507—635.

<sup>13</sup> А. Блок, т. 7, стр. 109.

<sup>14</sup> А. Блок. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, стр. 166.

<sup>15</sup> А. Блок, т. 7, стр. 211.

<sup>16</sup> А. Блок, т. 6, стр. 83.

<sup>17</sup> А. Блок. Записные книжки, стр. 132.

<sup>18</sup> А. Блок, т. 6, стр. 22.

<sup>19</sup> Там же, т. 8, стр. 385.

<sup>20</sup> А. Блок. Записные книжки, стр. 94; 108—109.

<sup>21</sup> А. Блок, т. 5, стр. 247; 234—238.

<sup>22</sup> Там же, т. 8, стр. 385; 331, 277.

<sup>23</sup> Там же, т. 7, стр. 163.

<sup>24</sup> Там же, т. 5, стр. 153.

<sup>25</sup> А. Блок. Записные книжки, стр. 214; 213.

<sup>26</sup> А. Блок, т. 4, стр. 529.

<sup>27</sup> Там же, т. 7, стр. 117.

<sup>28</sup> А. Блок. Записные книжки, стр. 434—435.